

## Иван Алексеевич Бунин ( 1870 – 1953 )

### Далекое

Иле девять лет. На нем гимназический картуз, шелковая коричневая косоворотка, козловые сапожки с сафьяновым ободком на голенищах. Он сидит сзади отца на беговых дрожках, дрожки шибко катятся большой дорогой, а вокруг — поле, летнее жаркое утро...



### Иллюстрация Н.А.Устинова

Старую донскую кобылу подали к крыльцу чуть не на рассвете. Но, боже, сколько раз заглядывал Иля в кабинет отца, в тщетной надежде, что разговор со старостой кончен! Уже и росистая трава в тени от амбаров успела высохнуть, и запахло в саду оцепеневшей на солнечном припеке черемухой... Даже кобыла и та стала задремывать от скуки: осела на левую заднюю ногу, прижала одно ухо, прикрыла глаза...

Но всему бывает конец, кончилась и пытка ожидания. Держится Иля за кожаную подушку сиденья, задрав ноги на заднюю ось и почти касаясь лбом ружейных стволов на спине отца, поглядывает, как трепещут сверкающие на солнце спицы, как бежит по пыли возле них белая, с подпалинами, Джальма, близко видит загорелую шею и широкий затылок под белым картузом... Солнце стоит высоко и сильно припекает, кожа на дрожках стала горячая, —

приятно пахнет нагретой кожей и колёсной мазью.



**О.Г. Верейский, иллюстрация к рассказу "Далекое", 1978, бумага, акварель.**

Отец сдерживает лошадь и закуривает, пуская через плечо клуб душистого дыма...

Ах, эти проселки! Весело ехать по глубоким колеям, заросшим муравой, повиликой, какими-то белыми и желтыми цветами на длинных стеблях. Ничего невидно ни впереди, ни по сторонам — только бесконечный, суживающийся вдали пролет меж стенами колосистой гущи да небо, а высоко на небе — жаркое солнце. Синие васильки, лиловый куколь и желтая сурепка цветут во ржи. Дрожки задевают колосья, растущие кое-где по дороге, и они однообразно клонятся под колесами и выходят из-под них черными, испачканными колесной мазью. Мелкие кузнечики сухим дождем непрерывно сыплются из подорожника... Неожиданно потянуло откуда-то легким ветерком, солнечной теплотой...

Отец подбирает вожжи... И опять заиграли спицы, закружились перед глазами пестрые венки навертевшихся на втулки цветов, запрыгали дрожки

по выбоинам... Тут надо держаться покрепче, но, ухватившись за сиденье обеими руками, все-таки пристально следишь за тем, как навстречу, лоснясь, бегут серо-зеленые волны, как тень от облачка то там, то здесь на мгновение затушевывает их, как носится, хлопая ушами, за перепелами и жаворонками Джальма: иногда совершенно пропадает во ржи, — только по волнистой линии, струящейся за нею, видно, где она, — а иногда высоко выпрыгивает из колосьев, удивленно озираясь по сторонам...

Порою встречалась телега, в ней — баба с белоголовым мальчиком на коленях, которая неумело держит веревочные вожжи, неумело сворачивает, заезжая в рожь, а бокастая лошаденка с жадностью хватает губами колосья... Встретился однажды мужик: он без шапки сидел на грядке телеги, возле длинного узкого гробика из золотистого теса, и веселое лучистое солнце жарко пекло его лохматую голову...

Встречался урядник верхом на худой, длинношеей кляче или бородатый, могучий о. Алексей в широкополой шляпе, высоко восседавший на своей тележке, за которой бежал жеребенок мышинового цвета, на длинных, тонких ножках... А не то вдали показывался тарантас, а в тарантасе — загорелый помещик в крылатке, в дворянском картузе, с изумленно выкаченными белками. Увидав соседа, он изумлялся еще более, радостно тарачил глаза и разводил руками, меж тем как кучер в плиссовой безрукавке и круглой шапочке с павлиньими перьями останавливал тройку. Останавливал лошадь и отец, слезал с дрожек навстречу вылезавшему из тарантаса толстяку — и начинались бесконечные разговоры. Помещик говорит страшно громко, размахивает руками и все кого-то бранит... Потом над чем-то долго, с мучительным наслаждением хохочет, сотрясаясь всем телом... Отец тоже кричит и тоже хохочет.

— Ну, до свиданья, до свиданья! — наконец говорит он, нахохотавшись.

— До свиданья, батюшка, очень рад был встретиться!

— Мой поклон вашему семейству!

— И вашим также передайте мой сердечный привет!

— Восемнадцатого будете?

— Обязательно, обязательно!

Помещик становится на подножку тарантаса, накренивая его, с трудом усаживается... Но не проходит и минуты, как сзади опять раздается крик:

— Сосед! На минуточку!

И опять стоянка, опять разговоры...

Утомленная, но счастливая своими хлопотами Джальма сидит у колес и жарко дышит, изредка, с коротким стуком, ловя зубами мух. В небе блестят и кудрявятся белые облака, всюду столько света и радости, как бывает лишь в июне, и все неподвижнее становится воздух к полудню. Два желтых мотылька, как два лепестка розы, беззвучно и однообразно играют над склонившимися в оцепенении колосьями, над цветами и травами, нагретыми зноем. Сладко пахнет васильками. И, щурясь от солнца, Иля в забытии следит за облаком, похожим на пуделя, которое, медленно тая, плывет по светозарной сини неба, прислушивается, как сипят в траве кузнечики, а над головою на тысячу ладов сонно звенит жалобными дискантами воздушная музыка насекомых, неумолчно воспевающих дали, млеющие в мареве зноя, радость и свет солнца, беспричинную, божественную радость жизни...

Наговорившись, отец гонит лошадь шибко, и дрожки прыгают и несутся под изволок, к какому-то широкому логу среди степных косогоров.

За этим логом следует подъем на покатую гору, залитую зелеными овсами, а с горы открывается видна новый, еще более широкий и разлтый лог. Тут были заливные болотистые лужки, и мелкая степная речка, извивавшаяся под ним, делала много широких затонов, густо заросших зелеными щетками куги. Оттого, что горизонт был со всех сторон замкнут этими похожими на ржаные хлеба косогорами, глухо было тут на редкость, но какая милая, своеобразная жизнь, жизнь куличков, бекасов и диких чирков, чувствовалась в тишине и глуши этих мелких затонов!

— Держись! — кричит отец сквозь дребезжание бегущих под гору дрожек.

И вдруг дребезжание сразу обрывается.

Под горою ветерок спадает. Солнце печет, колеса шуршат в густой, насыщенной водой траве. Пресно пахнет теплым илом, разогретой кугою; белая, как снег, рыбалка неожиданно вырывается из кочкарников и сверкает в воздухе острыми крыльями... А вот и болото — серебристо-зеркальные затоны с островками тонколистой осоки...

Не спуская с них глаз, отец передает Иле вожжи, осторожно слезает с дрожек и, скинув ружье, торопливо, но бесшумно направляется к ним.

— Джальма! — строго, отрывисто и негромко говорит он каким-то особым, условным тоном Джальме, которая перепрыгивает с кочки на кочку с высунутым языком. Длинные сапоги его тонут в мягких кочкарниках, серебристые пузыри болотного газа остаются в его следах, отпечатывающихся в бархатистой и влажной траве... От солнца и блеска воды светло так, что больно смотреть...

— Джальма!

И Джальма, быстро оглянувшись, вдруг — бултых в воду и, наслаждаясь прохладой, медленно плывет к затону, к камышам. Из воды видна только ее вытянутая прилизанная голова с опущенными ушами и длинный хвост, который плывет за ней, как чужой, как палка. Потом и голова и хвост заворачивают в камыши, отец входит по колена в воду и тоже скрывается в камышах. Проходит десять, двадцать минут напряженного молчания... Где-то далеко раздается тяжкий, глухой выстрел... Весь встрепенувшись, пристально глядит Иля вперед, но за камышами ничего не видно.

В камышах что-то осторожно попискивает и булькает; по широкой луже недалеко от дрожек, извиваясь, проплывает уж; перламутрово-голубые стрекозы с треском распускают длинные стеклянные крылышки, вылетая из горячей грани, а высоко в небе медленно вырастает и вытягивается большое белоснежное облако... Вот оно приняло образ сказочного исполина, а из затона, в котором, углубляя его, ярко светит отражение этого исполина, что-то глухо, угрюмо и жалобно ухнуло... Ухнуло и выжидательно замолчало...

— Бычки! — вспоминает Иля загадочное слово, оброненное отцом, и весь замирает от сладкого ужаса.

Воображение мгновенно создает образ какого-то фантастического существа, одного из тех страшных подводных жителей, что глубоко скрываются в болотах и только изредка высовывают свои лобастые рогатые головы с выпученными глазами на свет божий. Что, если выглянет такой бычок именно теперь, в этот безмолвный час знойного полдня? И, косясь на затон, Иля не замечает, что картуз его съехал на затылок, что комары облепили ему потную шею и руки и что ослепительно-жаркое солнце бьет прямо в лицо... Вдруг раздается кашель. Иля вздрагивает и мгновенно возвращается к действительности. Отец идет, по пояс мокрый, хлопает тяжелыми сапогами, налитыми болотной водой.

— Тут... бычки, — говорит Иля нерешительно.

— Ну и что же?

— Они очень большие?

— Кто? Бычки-то? Да ведь это жучки! Водяные жучки!

— Как жучки? — бормочет Иля, пораженный и разочарованный.

Отец покраснелся, расстегнул ворот рубахи, лицо у него доброе и оживленное. Подойдя к дрожкам, он бросает Иле убитого чирка, и, мгновенно забыв о бычках, Иля с жадностью ловит его на лету. Чирок еще

теплый! Головка с закатившимися глазами, подернутыми белесою пленкой, бессильно падает на радужный зобик, брюшко в запекшейся крови... Но как оно славно пахнет тиной и порохом! И Джальма вылезает из осоки тоже веселая и удовлетворенная. Глаза безумные, с длинного красного языка льет слюна, белая атласная шерсть вся прилизана, уши висят, ноги в иле, — точно в черных чулках...

Мокрые блестящие шины колес снова шуршат по бархатной сочной траве, изредка врезываясь в воду и разбрасывая во все стороны светлые длинные брызги. Лужи, в которых золотыми полосами то там, то здесь резко вспыхивает жаркий солнечный блеск, мелькают перед глазами... Из куги то и дело с жалобными стонами вырываются кулички... Потом мягкий кочкарник сразу обрывается, — дрожки снова трещат по дороге, убегающей в гору...

Ах, когда Иля вырастет, он будет самым счастливым человеком в мире! Он поселится на хуторе, будет жить только охотой, будет каждый день чистить кирпичом и промывать свое ружье, будет варить себе кулеш, спать возле порога дома на войлоке, а просыпаться еще в ту пору, когда едва-едва брезжит зелено-серебристый рассвет...

Но и теперь чудесно. Дышит Иля чистым полевым ветром, слушает хохлатых жаворонков, распевающих над полями, в облаках, в бесконечном просторе... Степь вокруг, куда ни кинь взор, зеленая, ровная, вольная. И ни души в степи, ни кустика, ни деревца, — только далеко впереди машет, как утопающий руками, чья-то мельница.

*1903–1926*